

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

1

Мать уже ждала его. Все было готово. Они вместе еще раз проверили, плотно ли завешены щели: не прорвется ли где-нибудь предательский свет из чулана? Еще раз ощупали все запоры и, наконец, включили приемник. Крошечный, беспомощный ящик, который скорее шептал, чем говорил человеческим голосом. Даже могучий рык Левитана он превращал в хриплый, прерывающийся, глухой шепот. Но мать и сын давно уже привыкли распознавать смысл звуков, пробивающихся через щабобы разрядов и тресков. Это был все-таки голос Москвы!

Мать и сын жадно ловили русские фразы, повторяли их беззвучно, одними губами, и — раз навсегда — записывали их в своем сердце.

Голос Москвы говорил им о трудных победах. Он утверждал: спасение грядет! Идет спасение и для маленькой, истекающей кровью Латвии, и для всей многострадальной огромной страны, еще не совсем понятной, но уже ставшей навсегда символом веры, истинного силы и залогом счастья. Только он — этот голос Москвы — может принести спасение и сыну, мальчику, скрывающемуся в лесу от позорной службы в рядах оккупантов.

Что же скажет сегодня этот голос?

Сухими словами сводки он сказал, что советские войска идут на запад. Неуклонно и неотвратимо. Трофеи. Километры. Человеческие судьбы. Улыбки спасенных детей и материнские слезы счастья. Освобождены Витебск, Гродно...

Мать и сын плохо знают, что это за Гродно. Кажется, где-то в Белоруссии? Далеко или близко от их крошечного латвийского городишки, затерявшегося в черной ночи оккупации? Но — все равно! — они тихо пожимают друг другу руки и обмениваются торжествующими взглядами: добрая новость! Все-таки Гродно, как ни говори!

Приемник целкает, булькает, хрипит. Где-то, наверное, рвутся снаряды, где-то грохочут громы. Какофония всего земного шара, кажется, вслилась в этот крошечный деревянный ящик, чтобы помешать слушать Москву. Но через густой заслон шумовых помех упрямый диктор продолжает разносить людям радость. Он объявляет...

Боже мой, он объявляет... начало концерта!

«Поет заслуженная артистка Латвии...»

(Этот сумасшедший диктор говорит сегодня что-то невероятное!)

«...Эльфрида Пакуль!»

Нет, ты хорошо это слышала, маминя?! Мы не напутали?! Ведь он действительно назвал именно ее?! И вдруг — через сотни

километров грохота и стонов в их жизнь ворвалась песня. Это были дивные звуки. Они бились, как гордая птица, они сверкали, как луч весеннего солнца, они переливались всеми цветами спектра, как капли росы на листке родной яблони, они благоухали, как лесной ландыш.

Пела Эльфрида Пакуль. Лилась, лилась, сметая все преграды, нежная и доверчивая латышская дайна. Потом руладами рассыпались трели соловья. Потом голос артистки наполнил страстью и болью — это пела свою песню любви несчастная Травиата... Потом как серебряные струи горного ручейка, полились мелодии волшебного вальса. Через моря крови, через черные скелеты вздыбленных мостов, через пустые, выжженные глазницы ослепших зданий, через боль иссушенных материнских сердец, — вальс! вальс! вальс!

Мать и сын смотрят в глаза друг другу и читают в них счастье. Нет, не страшна больше ночь с ее тревожными, грозными всполохами. Все будет хорошо! Идет, идет, с востока отмщение! Идет победа! И поют усталые сердца — вальс, вальс, вальс!

...Сын долго сидел потом, склонившись над тетрадкой. Перед рассветом он отдал ее матери, и та, как всегда, тщательно спрятала, ничего не спрашивая. Она знала, что сын вписал сегодня что-то очень существенное, важное в свой дневник. Придет время, — это понадобится людям. А пока надо прятать и молчать.

А сын написал в ту ночь горлопанным мальчишеским почерком, с пометками и грамматическими ошибками, письмо Эльфриде Пакуль. Письмо наивное, восторженное, но чистое, как сама юность. Письмо, которое так и не попало в руки адресата.

«...Вы пели, — писал юноша, — вы пели, а мы плакали от счастья. И я шептал: «Слушайте, люди, вот там, в Москве, поет наша Эльфрида Пакуль! Мы знаем — Вы избранница, которая участвует в создании нового искусства... Мы верим Вам, потому что — ех Oriente lux! — Свет идет с востока! И Вы — несущая этот свет... Хотя Вы далеко от меня, гораздо ближе к солнцу, хотя между нами реки крови, пролитой фашистами, — я чувствовал в эту ночь, что Вы с нами, совсем рядом, дорогая наша артистка...»

Мать проводила его до калитки. Он ушел тихой, осторожной поступью бывшего конспиратора. Ушел к друзьям, в лес. О, он нес им важные новости: шутка ли, — Гродно! И еще — чудо из чудес! — голос нашей Эльфриды! Прямо из Москвы! — Вальс, вальс, вальс!

И мать улыбается, прожоя глазами тоненькую юношескую фигуру сына, уже почти совсем растворившуюся в

предутреннем тумане. Мягкая влага заволакивает глаза. Что это ветер нашептывает молодой яблоне? Или о чем запела капель, стучащая по дну пустого ведра?

— Вальс, вальс!

2

Артистка полна сегодня трепетных ожиданий.

Завтра — ее большой, солнечный, юбилейный концерт. Смотр достигнутого за четверть века. Все давно уже готово — продумано до мелочей, прочув-

ствовано до тончайших нюансов неугомонным сердцем художника. Ноты? Вот они сложены аккуратной стопочкой на рояле. Она будет держать в руке нотную тетрадку... Это — только дань традиции. Разве артистка позволила бы себе переступить порог сцены, если бы что-то, пусть даже самый пустяк, не улеглось в памяти?

Она всегда беспощадно требовательна к себе. Все равно — простирается ли за рампой огромный зал Большого театра, или на пенечках да на телегах расселись колхозники, собравшиеся у полевого стана. Она никогда не делает себе скидок, не дает поблажек. И этот священный трепет волнения, когда каждый нерв выпрямлен и напряжен, как струна, когда глаза начинают сверкать истинным вдохновением, когда сердце замирает от внезапной неуверенности в себе, — она испытывает каждый вечер, перед каждым выступлением. Кто поверит этому, глядя на ее прямую, всегда подтянутую и строгую фигуру, слушаая ее пение, в котором такая глубина чувств сочетается с виртуозной техникой колоратуры!

Артистка не любит оглядываться назад. Она не умеет писать мемуары и ей попросту некогда «копаться в прошлом». Вот разве что только по дороге на очередной концерт... Тогда бесцеремонная память, вытравленная профессией певицы и не желающая ничего перечеркнуть, рисует картины пережитого... И это отнюдь не одни только радужные картины.

Можно ли, например, забыть, как потянулся к ней обоими забинтованными рука-



ми — не руками, а обрубками рук! — тот солдат, совсем еще мальчик, с лихорадочным блеском темных глаз, и сказал по-латышски, запекшимся губами всего только два слова:

— САУЛИТЕ и ЛАКСТИГАЛА... СОЛНЫШКО и СОЛОВЕЙ...

Это было в далеком тыловом госпитале. В палате затихли стоны. Пахло бинтами и лекарствами. Было душно, и нельзя было открывать окон. Но они — и артистка, и ее слушатели — не чувствовали ничего, кроме овладевшей ими власти волшебных звуков... И вдруг — эти два простых слова. Они были ей наградой за многое.

Ленинград. Она попала впервые в этот город Пушкина и Чайковского в годину его тяжелых бедствий. В большом зале, на тех самых подмостках, с которых столько раз пел Собинов, стояла она. И — трепетала от волнения. Люстры были сняты. Выбитые стекла заткнуты тряпками. Люди сидели в шубах и валенках. Артистка как сейчас видит свои жалкие синие руки. Из-под декольте концертного платья выступал край теплой кофты. (О! Неужели заметили зрители!). Окоченевшие ноги никак не могли привыкнуть к строгому изяществу высоких каблучков...

Но вот — аккорд. И — все исчезло. Не было больше ничего, кроме бравурной, гневной и гордой Царицы Ночи... Она пела. И люди забывали о своих страданиях. И разве это — не великая плата за труд артиста?

Голос Риги
г. Рига

20 ОКТ 1962



Потом Ленинград стал ей родным и привычным. Она гордилась строгим великолепием этого удивительного города, вынесшего все и не склонившего головы. Она научилась распознавать ленинградцев, как и рижан, по внешним признакам. Как родных, встречала она их и в Челябинском тракторном, и в заснеженном Новосибирске, и среди свердловских металлургов.

А Москва? Большой театр. Годы большой учебы. Качалов, Яхонтов, Тарасова, Охлопков, Барсова, Нежданова... Каждое из этих имен — целая глава ее жизни. Она пела любимую Травнату с Иваном Козловским. Она занималась у профессора Райского вместе с Сергеем Лемешевым.

По дорогам страны мчалась ее известность. Ей писали, ее звали, ее ждали. Ее называли «латышским соловьем». И она, в глубине души, очень радовалась этому имени. Потому что, безропотно отправляясь в самые далекие дали, из конца в конец огромной Родины, обретенной в те трудные, но честные годы, она оставалась нежной дочерью своей маленькой Латвии, с ее тихими перелесками и озерами, с ее задумчивыми дайнами, которые она так бережно и влюбленно несла, как дар верно-го сердца, на Восток, на Север и на Юг огромной державы, воюющей за общую правду.

С какой энергией, вернувшись домой после войны, начала она новую главу своей творческой биографии в рижской опере! Как отдалась она общественной деятельности!

И вот — завтра юбилей. Как всегда, в такие минуты не знаешь, чего больше — радости или грусти. Радость — потому что кругом друзья. Грусть — потому что нелегкими были ее дороги. Она не давала себе права даже на минутную праздность, эта женщина с железной волей, эта певица с чудесным талантом. Иногда, неизвестно откуда, выскакивает мыслишка:

— Не слишком ли отрешенно прожита жизнь? Ведь все было отвергнуто во имя искусства...

Лучше всех это знает друг и всегдашний попутчик, партнер и советчик, ученик, первый слушатель и первый критик, Александр Дашков... Они привыкли делить все — и походы, и труд, и славу. И самое дорогое — признание народа.

Но разве же этого мало? И разве, если бы можно было все начать сначала, она не повторила бы всю свою жизнь, день за днем, репетицию за репетицией, арию за арией, концерт за концертом!..

— Моя школа? — отмахивается Эльфрида Яновна от досужих журналистов. — Моя школа — это жизнь. Вот о ней пишите. О большой, кипучей и очень интересной жизни чашей. И пусть нам завидуют артисты Запада. Самые «счастливые» из них спускают акции, стригут купоны, становятся банкирами и фабрикантами. А мы — неизмеримо богаче! Наше сокровище — народное признание. Никакой бум на бирже не поколеблет основ нашего чудеснейшего капитала! Он завоевывается ценой большого труда. И трудом же защищается от издержек времени.

А завтра будет так.

Гул нетерпеливых зрителей докатится до ее артистической уборной, и немножко закружится голова...

Нелегко будет унять волнение, заставить равномерно биться сердце. Но артистка овладеет собой. Уверенной рукой она последний раз приведет в порядок прическу. И — в бой! Да, да — именно в бой! Ибо каждый концерт — это битва. Битва за покорение людских сердец. Битва за их добрые чувства, за их возвышенные порывы.

И она опять выиграет этот бой. Зрители с восхищением признают ее победу. Разные зрители — юные и старые, и восторженные и сумрачные, и общительные и молчаливые. И среди них, наверное, будет тот, что восемнадцать лет назад написал свое неотправленное письмо. Он вовсе не выдуман журналистом. Он — есть. Но мы обещали ему не называть его имени. Дело в том, что прошлые годы, они и его провели через горнило суровых испытаний. И теперь он сам без улыбки не может читать письмо. Продиктованное его восторженной юностью. Он стал скучнее на восхлительные знаки, наш современник, сидящий в зале, и уже не делает больше грамматических ошибок. Он стал сдержаннее выражать свои чувства. Но воспоминание о глухой ночи, когда через кордоны и провололочные заграждения в плененную Латвию ворвался из Москвы голос родной певицы, — он бережет, как самое заветное. И он готов повторить сегодня с гордостью, с любовью:

— Слушайте, люди! Это поет наша Эльфрида! Наша Пакуль!

Ольга Макарова